



Москва

8
2016

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз писателей России

Российский Фонд Мира

Трудовой коллектив
журнала «Москва»



8

2016

16+

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Ирина ПОЛЯНСКАЯ. Ускользящая красота. Рассказы	3
Наша Поляночка. Из воспоминаний однокурсников	26
Татьяна СОКОЛЬНИКОВА. Тень от листьев. Стихи	35
Гарий НЕМЧЕНКО. Красная машина. <i>Документальный роман. Окончание</i>	41
Вячеслав КИКТЕНКО. Стихи из книги «Тетрадки»	86
Юрий ПАХОМОВ. Знакомое лицо. Рассказы	91
Евгений ГОЛОВИН. На острой грани. Рассказы	139

ПУБЛИЦИСТИКА

Сергей ТРОИЦКИЙ. Брак и церковь. Публикация Михаила СМОЛИНА	152
Дмитрий ВОЛОДИХИН. Христианская Таврида	168
Алексей ОПИЛКИН. Границы права	177

КУЛЬТУРА

Лидия СЫЧЕВА. Героика и лирика Валентина Сорокина	190
Лев АННИНСКИЙ. Не закат и не мрак, а пока...	194
Галина ЩЕРБОВА. Золотой запас	198
Дмитрий УРУШЕВ. Роман в открытках	202

МОСКОВСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Алекс ГРОМОВ. Первые века. — Восточный дискурс. — Владимир АНДРЕЕВ. «Ах, зачем снова даль нас зовет каждый вечер...» — Татьяна ЛОБАШКОВА. «Суеверием насыщена была вся атмосфера жизни раннего Средневековья...» — Наталья ПРАЩЕРУК. В школе сокрушения	213
---	-----

МОСКОВСКАЯ ТЕТРАДЬ

Алексей МИНКИН. **Лечебная улица, Врачебный проезд,
Аптекарский переулок — далее всюду** 223

ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

Протоиерей Алексей ЧАПЛИН. **Когда и кем был крещен
святой равноапостольный Константин Великий** 232
Священник Димитрий ШИШКИН. **О Критском соборе:
главными организаторами этого собора
были апологеты экуменизма** 239

Главный редактор В.В. АРТЕМОВ (495) 691-71-10

Генеральный директор В.В. КОВАЛЕВ (495) 691-83-91

Ответственный секретарь О.И. КИРЕЕНКО (495) 691-83-64

Отдел прозы и поэзии Т.А. НЕРЕТИНА (495) 691-68-01

Домашняя церковь С.И. НОСЕНКО (495) 691-68-01

Главный бухгалтер Л.Э. БУДНИКОВА (495) 691-83-84

Заведующая редакцией М.В. БИКАШОВА (495) 691-71-10

Корректор О.И. ИВАНОВА

Технический редактор Е.Ю. ЕРОФЕЕВА

Общественный совет:

игумен ЕВФИМИЙ (МОИСЕЕВ), П.Н. КРАСНОВ, В.Н. КРУПИН, В.А. КУЛЬЧИЦКИЙ,
П.В. МУЛЬТАТУЛИ, А.С. САЛУЦКИЙ,
М.Б. СМОЛИН (председатель), епископ ТИХОН (ШЕВКУНОВ),
И.Р. ШАФАРЕВИЧ

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Отклоненные рукописи сохраняются в течение года. Рукописи, присланные по электронной почте, не рассматриваются. Материалы принимаются только в распечатанном виде по адресу редакции. Журнал не публикует поэмы, либретто и сценарии.

Подписано в печать 27.07.16. Формат 70x108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать офсетная.

Тираж 1480 экз.

Свидетельство о регистрации № 554 от 29 декабря 1990 года Министерства печати Российской Федерации

Подписные индексы: 73253 — каталог РОСПЕЧАТЬ, 15612 — «Пресса России», 45211 — каталог «МАП».

Адрес редакции: 119002, Москва, ул. Арбат, д. 20. Телефон +7(495) 691-71-10. Факс +7(495) 691-07-32.

Электронная версия журнала: www.moskvam.ru

e-mail: priem@moskvam.ru

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография» Филиал «Чеховский Печатный Двор», 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1. Сайт: www.chpd.ru; e-mail: sales@chpk.ru, 8(495) 988-63-87.

ISSN 0131-2332

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

© Журнал «Москва» № 8, 2016

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ



УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА

Ирина Николаевна Полянская (1952–2004) родилась в г. Касли Челябинской области. Окончила актерское отделение Ростовского театрального училища и Литературный институт имени А.М. Горького в Москве (семинар прозы Георгия Березко; семинар поэзии Евгения Винокурова).

Работала концертмейстером, актрисой, санитаркой (в отделе травматологии), корреспондентом в газете, литконсультантом и редактором в журналах.

Автор книг «Предлагаемые обстоятельства» (1988), «Между Бродвеем и Пятой авеню» (1998), «Прхождение тени» (1999), «Горизонт событий» (2002) «Путь стрелы» (2003), «Читающая вода» (2011) и др.

Лауреат немецкой литературной премии «Lege Artis» (Лейпциг) (1995), премии журнала «Новый мир» (1997), премии имени Юрия Казакова (2003); финалист «Русского Букера» (1998).

РАССКАЗЫ

Снег идет тихо-тихо

Если бы Борис Данилович сам не понял, что с ним происходит, нашлись бы люди, которые дали бы ему почувствовать, что отныне он в этом мире чужой, застоявшийся в прихожей гость, которого хозяйка квартиры, напирая на него бюстом, держа в одной руке сверток с пирожками, а другой отпирая дверь, оттесняет в темноту коридора, а хозяин, поджав хвост, подает плащ виноватым, скомканным движением, которое в перспективе, в душе разворачивается в то же решительное отталкивание прочь, в коридор уличных фонарей, под сонный снег, засыпающий гостя, нищего, прохожего с головой, пока он не догадается заснуть. И надо было явить теперь отталкивающему его миру если не последнюю свою гордость, то хотя бы послушание. Не протягивать же к ним руки с мольбой, потому что ничего, кроме горсти снега, не положат. Люди почтительно отступили от него, как бы очищая ему пространство для каких-то последних дел и дум. И он должен был соскользнуть по зимнему пути в полном одиночестве, точно нес в себе позорную тайну, как прокаженный. Они перестали смотреть ему в глаза; даже сосед, с которым целую вечность играли в шахматы, сделался занят.

То, что случилось, требовало глубокого, чистого и ясного одиночества, а не этой тягостной полудремы, не этой тоски гладиатора, видящего суетливое мелькание лиц вокруг своей арены. Это гнилое одиночество не могло выправить мысль, послать ее к своему источнику — к сердцу, и оттуда уже рассеять сквозь джунгли других человеческих чувств, мнений, самолюбия, как утро по миру, свои лучи. Но одно открытие Борис Данилович все же сделал: он понял, что зря считал самого себя и своих знакомых интеллигентными людьми. Перед

лицом наплывающего снега с него слетела бравада, исчезли обычная его болтливость, милая рассеянность. Смерти нечего было стесняться, как врача, которым он когда-то был, что уже не имело значения. Имела значение интеллигентность — умение умирать, а он умирать не умел, стеснялся заранее своего тела, которое впоследствии должно было участвовать в мерзком обряде-спектакле упрятывания его под землю, а там предстояло участвовать в отвратительном процессе растворения с землей. И чтобы совладать с этой мыслью, нужна была интеллигентность, простота, видение истины, а не мельтешение ее на какой-то странице, не тень ее в глазах какого-то человека.

Когда пришел сын и задал ему вопрос: что подарить тебе, папа, на день рождения, который будет весной, у отца не хватило интеллигентности, и он сказал сыну пустым голосом: «Да ладно тебе». Ясно ведь было им обоим, что до весны ему не дотянуть. Сын отвернулся, и отец сказал мягче: «Цветы подари». Тут до него дошло, что он сказал, желая утешить сына, и в глазах его появилось затравленное выражение. Сын стал вынимать свертки с провизией из портфеля. «Что это у тебя?» — «Записную книжку себе купил, красивая вещичка», — сказал сын, рассеянно повертев книжку. «Подари-ка ее мне, — сказал отец, — я хочу записать кое-какие мысли». — «Держи», — сказал сын, и на этом они расстались. Между прочим, сын не хотел уходить, отец сам оттеснял его в глубь коридора; держа сыновий портфель в одной руке, другой уже нащупывая дверной замок, выталкивал своего мальчика на холод, под ледяные звезды. Сын шел и думал о том, что отец его в том смысле счастливый человек, что перед смертью имеет возможность о чем-то подумать, разобраться в самом себе, подышать морозным воздухом напоследок и вспомнить детство. Тогда как он, сын, все время живет как тонет, задыхаясь, хватается слабеющей рукой то за тот куст, то за этот, то за эту женщину, то за ту, то за одну работу, то за другую, чтобы хватило на алименты той женщине и на жизнь этой, так и уйдет в конце концов под воду, когда последний пузырек воздуха лопнет на поверхности реки, тогда как отец жил как человек и умирает как человек же, собирается даже обставить свою смерть с некоторой торжественностью, как семейный праздник...

Отец умер в конце февраля. В больнице, куда приехали за телом, а потом на похоронах люди почтительно отступали от сына, очищая пространство для сыновьей скорби, которой все равно было тесно от окруживших его со всех сторон лиц, серьезных глаз и ртов, из которых клубами шел пар. Жизнь с ее бытовыми подробностями отступила от него на три дня, замерла, как удав с раскрытой пастью перед дудочкой, но из раскрытой пасти клубился теплый пар. Он знал, какие мысли сейчас роятся в головах провожавших его отца: мысли о теплом закутке ресторана, о длинном, заставленном снедью столе, в изголовье которого, прислоненный к колонне, стоит портрет улыбающегося, отмахивающегося от лица папиросный дым отца. О чем еще могли они думать, исполнившие свой долг, который, кстати сказать, не так-то легко было исполнить, потому что автобус из похоронного бюро заплутал в снегопаде и приполз на два часа позже, когда люди уже достаточно намаялись на морозе. Сын бросил в яму горсть ледяной земли, скорее снега, провожающие сделали то же самое, и экскаватор взревел, сталкивая в яму остальную землю. Люди, окружавшие сына, отступили, стараясь не расплескать до конца поминок выражение участия, и сын остался один на один со свежим холмом, который с нежностью, присущей всему действительно живому,

мягко прикрыл снег. Над снегопадом стояли невидимые звезды, и ни одна не могла достигнуть теперь его сердца своим светом и наполнить его хоть на мгновение; зато то там, то здесь тусклыми огоньками вспыхивали глаза людей, и сын заозирался, точно затравленный ими. Приглушенно, как покашливание в партере, звучали голоса. И тихо-тихо шел снег. Шел, но тихо-тихо, не имея цели впереди, памяти — позади. Чего ему было шуметь, куда спешить?..

Через несколько дней, разбирая с женой вещи отца, он наткнулся на подаренную им отцу два месяца назад записную книжку. Вернее, ее вытащила из письменного стола жена, подержала почтительно и осторожно раскрыла, но сын выхватил у нее из рук книжку и спрятал в карман своего пиджака. Кое-какие вещи и книги они прихватили сразу, в ногах у него стояла упакованная посуда, он придерживал ее руками и в то же время чувствовал кожей записную книжку, словно она излучала тепло, и думал: «Что ты понял? Что?» Она излучала тепло, как старая, проникнутая добрым содержанием вещь, он слышал тихий шелест страниц, представлял живой, мелкий почерк отца.

Дома сын заперся в ванной и достал книжку, раскрыл ее на середине. Было пусто. Он раскрыл ее ближе к началу, и ему отчего-то сделалось страшно: и эти страницы оказались чистыми. Он пролистал еще несколько страниц: пусто. И ему сделалось так жутко, точно он завис в пустоте, в небытии более полном, чем то, в котором находился отец. Он отметл прочь еще несколько занесенных снегом страниц и очутился в самом начале книжки, где на первой странице сверху была написана одна-единственная фраза: «Снег идет тихо-тихо».

Куда ушел трамвай

Мы знали: город наш маленький. Город маленький, но трамвай по нему ходил — красный скрипучий вагон с громадной дугой на крыше, высекающей фиолетовые и зеленые искры. Мы были в нем: сидели на желтой деревянной скамье и хвастали друг перед другом билетиками — не так часто мы их брали, а на железных поручнях висели ремни, и те из пассажиров, кто не доставал до самого поручня, покачивались, держась рукой за ремень. А мы сидели; когда ты захотела уступить место одной старушке, со всех сторон закричали: сидите, сидите, вы маленькие. Раз билеты есть, сидите, подтвердила кондукторша. Есть, есть, сказали мы всем и снова показали билетики.

Трамвай ходил с севера на юг, со Строп на Погулянку и обратно, конечно. В Стропах на холмах было кладбище; могилы издали, из окна трамвая, казались ступенями лестницы, и сосны стояли над ними. Иногда мы прогуливались здесь. Читая надписи — я читала тебе, ты сама еще не умела читать, — мы вздыхали и клали на плиты веточку полыни или цветок кашки и никогда не трогали оставленных там конфет, да и, честно говоря, не хотелось. Один раз мы так ходили-ходили и наткнулись на свежую могилку Юриса. Это было зимой. Надпись была залеплена снегом, но лицо Юриса на снимке под стеклом — нет. «Это же Юрис!» — вскричала ты и закрыла лицо руками. «Юрис», — пришлось согласиться мне. Вот уже три месяца мы скрывали от тебя, что Юрис, бедный мальчик, добрая душа, провалился под неокрепший лед на реке,

и, чтобы объяснить его исчезновение в доступной для твоего понимания форме, мы придумали, что Юрис уехал. «Куда же?» — «Далеко». — «На трамвае?» — «Да, — сказали тебе, — на трамвае, но теперь, к сожалению, туда не ходит ни трамвай, ни автобус, ни поезд, ни ковер-самолет, уж слишком много снега намело, никогда столько не было». — «Я знаю, почему туда не ходят трамваи, — поджав губы, ответила ты. — У трамвая мало рельсов, если б рельсов было побольше, трамвай ходил бы дальше». — «Какая смышленная девочка! — удивился наш сосед Барушко. — Она рассуждает как взрослая». Сосед Барушко был всегда уныл и вечно некрасив, потому что жена его была веселая и красивая. Он был уныл, потому что некрасив, а Танюша веселая, потому что красивая, и, когда она задерживалась в заводском драмкружке, где наряжалась в длинные платья и разговаривала не своим голосом, Барушко приходил к нам и спрашивал: «Ну что там можно репетировать до десяти часов вечера, скажите мне, я требую!» Наша мама не знала, и папа не знал, а бабушка, вздыхая, говорила: «Скоро Танюша придет, вы можете подождать ее у школы, там такой темный переулочек, и ей будет страшно идти одной». — «Уж лучше я у вас посижу, — отвечал Барушко, печально прихлебывая чай, — ее все время кто-то провожает, и она потом ругает меня, зачем я помешал разговору. А что показывают по телевизору?»

Мы так и не дожидались прихода Танюши, потому что нас укладывали спать. Утром мама говорила: «Кто хочет конфету “Белочка”?» Мы хотели. «Но вы знаете, что нужно сделать, чтобы заслужить ее?» Увы, мы знали. Мы поворачивались было к «Белочке» спиной, но она щелкала, она присвистывала, она дразнила нас с тобой, и мы, не выдержав, подходили к маме, зажмурившись, обреченно открыв рот, и она мгновенно впихивала нам ложку с рыбьим жиром. Мы заедали эту гадость хлебом с солью, а потом брали «Белочки» и выходили с ними во двор: во дворе было интереснее есть. Иногда мы делились со Стасиком и Нонной, иногда нет. Стасику было все равно, «Белочка» или ириска, он был равнодушен, счастливеец, к таким вещам, он любил больше всего огонь: у него руки чесались что-нибудь сжечь, спалить, взорвать, чтоб ухнуло и бабахнуло, он только и говорил о том, где бы чего бабахнуть и ухнуть, и наши родители, зная это, смотрели на него с опаской. А у толстощекой Нонны дома всегда стояла раскрытая коробка конфет, подходи и бери, бери и ешь. Нонна и ела, но не так, как съели бы мы с тобой эту коробку: мы бы уничтожили ее в мгновение ока, не запивая молоком, уж лучше лимонадом, но в крайнем случае ничем не запивая, съели бы все, смели. Нонна ходила в балетный кружок, и мы, стоя у окна на цыпочках, видели, как она усердно подымает тяжелую ногу с вывернутым носком, наклонив голову с тугими косичками, — мы могли такие батманы делать запросто, и даже не в балетных туфельках, а и в валенках. Стасик тоже с нами ходил: иногда он кидал в открытую форточку бенгальский огонь, и девочки-балерины стайкой летели к дверям от страха, а Стасик улепетывал вместе с собакой Дожем, переименованной в Дождик, бывшей полковничьей, а теперь ничьей, потому что полковник уехал в другой город.

Я, признаться, не любила брать тебя в свои путешествия по городу и игры: во-первых, ты была младше нас на целых два года, во-вторых, ты была очень серьезно больна. Твой недуг, шептались взрослые, должен был рано или поздно унести тебя в Стropy. Наша мама называла меня «мое горюшко», а тебя она так не называла, потому что ты и впрямь была ее горюшко. А мы, остальные, мама, папа, я и даже бабушка, и Нонна, и

Стасик, были здоровы, резвы и нетерпеливы; мы, дети, мы отплясывали на деревянной крышке помойки, мы целились из огромной Стасиковой рогатки в больших пыльных ворон, мы залезали на деревья так высоко, что сами казались с земли большими птицами, мы лазили на чердак и в бомбоубежище, мы ходили по неокрепшему льду реки и даже топали по нему ногой, мы... Да мало ли что мы могли! Но я не могла ждать тебя, ты не могла угнаться за нами, мне хотелось кому угодно сбить тебя, лишь бы не было рядом твоего тяжкого после бега дыхания, бледности, умоляющего взгляда, слабых рук, удерживающих меня за край платья. Однажды мы бежали за Стасиком на реку; скорей, скорей, оглядываясь, торопил он меня, скорей, а то пароход пройдет, скорей, скорей, оглядываясь, торопила я тебя, но ты все отставала и отставала, и я, крикнув: «Жди меня на этом месте!» — кинулась догонять остальных.

В этот момент к тебе подошел Юрис. Мы его знали — он жил в окраинном доме, но его отец приходил к нам во двор играть в домино. Юрис был моим ровесником, но он с нами не играл, он был занят какими-то своими делами — что-то мастерил в школьной мастерской или же читал, сидя на наших качелях, поджидая отца.

— Ты, кажется, ревешь? — сказал он тебе.

— Нет, я тихо, — возразила ты.

— Какая разница, тихо или громко, главное, ты распустила нюни.

Вытри-ка нос.

Ты послушно достала из бокового кармашка платья носовой платок и вытерла нос.

— А почему они тебя бросили? Ты ябеда?

— Нет, я больная.

— Чем? — заинтересовался Юрис. — У тебя коклюш? А может, полипы?

— Я не знаю, — ответила ты, — говорят, что больная. Я и сама думаю, что я больная, потому что не могу бегать, как они, и никого не могу догнать.

— Пустяки, — возразил Юрис. — Догони меня.

И он побежал, мелко перебирая ногами, обутыми в кеды. Ты сделала несколько неуверенных шагов и протянула к нему руку, но он увернулся и, отбежав, поманил тебя за собой. У клена ты его догнала и схватила за рукав широкого вязаного свитера, который на нем болтался.

— Вот видишь, — сказал Юрис, — а говоришь, что больная.

Так вы подружились. Вы стали неразлучны, и я смогла с головой уйти в свои дела.

После школы Юрис стоял под нашим окном и выкрикивал твое имя. Мамины глаза делались совсем темными от печали, но она усмехалась сухим ртом: «Кавалер твой пожаловал, дочушка». — «Жених», — подсказывала бабушка. Мама сказала бабушке: «Этот мальчик из очень бедной семьи, душа болит, на него глядя, такой худющий — заверни-ка ему пирожка».

Ты вышла к Юрису и сказала:

— Юрис, ты мой жених. Я вырасту, как Танюша Барушко, и выйду за тебя замуж, ладно?

— Не ладно, — возразил Юрис, — я не могу выйти за тебя. Дело в том, что я решил стать моряком. Я уйду в плавание.

Ты хотела заплакать, и он воскликнул:

— Ну что за наказание! Ну ладно, считай, что я твой жених, только вытри нос.

Ты достала платочек и вытерла нос, а другой рукой протянула Юрису пирожок.

— Какой вкусный, — сказал Юрис, надкусив.

— Ешь, Юрис, ешь, ты же из бедной семьи, — участливо сказала ты.

Юрис бросил на тебя пристальный взгляд, перевел глаза на наше окно, размахнулся и изо всех сил швырнул пирожком о землю. Потом он повернулся и, сунув руки в карманы, зашагал прочь.

— А-а-а!

Ты издала такой вопль, что милиционер, стоявший на углу, завертелся, как красно-серый волчок, а Юрис стал уходить все медленнее и медленнее. Ты уже замолчала, но Юрис еще слышал твой крик. Наконец он остановился, обернулся и со всех ног бросился к тебе. Стараясь предупредить его просьбу, ты вытерла нос.

— Тоже еще, — отдышавшись, проворчал Юрис. — Свалилась на мою голову, горе мое.

— Да, Юрис, — взволнованно подтвердила ты.

Он, кажется, не очень любил своих родителей, но все-таки кое-какое предпочтение отдавал отцу, хотя папа Юриса пил вино и его называли пропащим. Случалось, что мама Юриса была папу Юриса чем придется, обычно почему-то на людях. Юрис бледнел, и дрожал, и бросался между ними, а потом привык и только отворачивался, завидев мать, крадущуюся к играющим в домино с половником в руке. Отец Юриса был очень худым, почти как Юрис, но когда он ударял ладонью с доминошкой об стол, из стола высекались искры. А наш папочка, держа фишки перед глазами, неторопливо вынимал одну из ладони и бережно укладывал на стол. Наш папа никогда не шумел, не кричал, как другие игроки, особенно папа Юриса. Уже наступали холода, и доминошный стол пустовал, а вы с Юрисом зябли на улице. Ты звала его к нам домой, но он отчего-то не шел — может, боялся, что наша мама и бабушка станут его усаживать за стол и угощать пирожками, и он звал тебя покататься на трамвае. Вы сели в трамвай и, оживленно беседуя, ехали в Погулянку, а потом в Стропы. Так вы ездили-ездили, и однажды на пути между Стропами и Погулянкой начался снегопад, и во время снегопада где-то по дороге между Погулянкой и Стропами Юрис вышел из трамвая, и сколько ты потом ни спрашивала о нем, тебе ничего толком не отвечали. Ты перестала спрашивать. Тебя снова поручили моим заботам, теперь мы с тобой сделали неразлучны. Мне было жалко тебя, да и Стасику тоже, и Нонне: она приносила во двор целые коробки конфет, и мы ели их, заедая снегом, который все шел и шел. В эту зиму мама стала почему-то очень ругаться с папой, и это надрывало нам душу. Они кричали друг на друга страшными голосами, от которых, казалось, вянут герань и глоксинии на окнах и скисает молоко. Мама, стуча кулаком по столу, утверждала, что она все давно поняла, и некрасивым словом величала какую-то Таньку — потом я догадалась, что речь шла о Танюше Барушко и о том, что наш папочка встречает и провожает ее после занятий в драмкружке. Папа глухим голосом что-то отвечал.

— Ах, это Барушко просил тебя ее встречать? — кричала мама. — Барушко только раз и попросил, а ты таскаешься каждый божий день. Ха-ха! Попросили козла постеречь капусту!

— Какую капусту? — прикинув ухом к двери, прошептала ты.

Я прижала палец к губам, прислушиваясь.

— Дура! — вдруг взвизгнул папа. — Дура, и больше никто! Вы все о Татьяне распускаете сплетни, потому что она не такая, как вы...

— А какая? Ты уже знаешь какая, да?

— Ах, — сказала ты сокрушенно, отрываясь от двери, — мне что-то не хочется домой. К тому же у меня в груди что-то так ноет. Нет, я не пойду домой.

— Хорошо, — согласилась я. — Пойдем к Нонне.

— О нет! — сказала ты. — Ноннина мама начнет нас расспрашивать про папочку и про маму, что да как, а я не хочу. Давай поедем на трамвае. Очень мне нынче хочется покататься на трамвае. Ведь у тебя есть деньги, я знаю, тебе Стасик подарил денежку.

— Что ж, поедем, — согласилась я, и мы сели в трамвай, идущий в Стропы.

Мы проехали мимо дома, в котором жил Юрис, ты оглянулась на его окна, но ничего не сказала. Солнце садилось за холмами в снегу, и снег сделался оранжевым, почти теплым, а потом лиловым, деревья угрюмо шагали в гору, провалившись в снег, должно быть, по пояс. Люди входили и выходили. Ты все держалась за грудь и дышала тяжело, такое у тебя иногда бывало, и я гладила тебя по плечу. На остановке перед самыми Стропами в трамвай вошел Юрис. Ты зажмурила глаза и снова широко, счастливо раскрыла их, потом вздохнула и протянула к нему руки.

— Но ты же умер, Юрис, — сказала я ему рассудительно, — зачем теперь это скрывать? Он умер, сестричка, ты же знаешь.

Юрис презрительно ухмыльнулся.

— Вот еще, — сказал он. — Умирают старики и старушки, а я еще совсем молодой. И вообще я не к тебе, а вон к ней.

Ты всхлипнула и, обняв его за шею, усадила между нами.

— Послушай, Юрис, — снова сказала я, — раз уж ты жив или раз уж ты считаешь, что ты жив, надо и тебе взять билет. У нас есть еще деньги, хватит на порцию мороженого, но, если мы купим и тебе билет, у нас останется только на концентрат «какао», который так весело грызть. Поэтому я не имею ничего против, чтобы купить тебе билет.

Юрис задумался.

— Пожалуй, мороженое все-таки лучше концентрата, — сказал он, — его больше, а концентрат маленький. Не надо брать билет, — решил он, — если что, я исчезну, и все.

— Но что это мы все едем и едем, — вдруг сказала ты, — ведь мы уже проехали конечную остановку и кольцо, вот Стропы, вот кладбище, вон могила толстого дяденьки с усами, вот крест, вон памятник с голубем, вон могилка... — Ты запнулась. — Извини, Юрис, но это твоя могилка...

— Которая? — спросил Юрис. — Эта? Ничуть не похоже. Ты уверена?

— Да, Юрис, — ответила я ему. — Это точно. Мне бы не хотелось огорчать тебя, но это твоя могилка.

— Не думаю, — буркнул Юрис, — над ней растет тополь, а я их всю жизнь терпеть не мог, не то что клен или сосну. Правда, мне кажется, там, за оградой, мой мяч, но я, наверное, ошибаюсь: это мяч другого мальчика.

Ты заплакала, потому что узнала мяч Юриса, это был надувной красно-бело-зеленый мяч, полуспушенный, увядший.

— Это твой мяч, Юрис, — прошептала ты, обнимая его и глядя его по лицу, — я узнаю его.

— Ну, мой так мой, — недовольно проворчал Юрис, — и нечего реветь. Вот платок, дай-ка я вытру тебе нос.

— Какой у тебя чистый платок, Юрис, — сказала ты, глотая слезы, — он у тебя никогда не был таким чистым. Вернее, у тебя никогда не было платка.

— А теперь есть, — смущенно сказал Юрис.

— И эту школьную форму я на тебе никогда не видела, — сказала ты, рыдая. — Юрис, Юрис, ведь у тебя же всегда был вязаный свитер.

— Но куда мы едем? — вмешалась я. — Вот уже и кладбище скрылось из глаз.

— Не знаю, — беспечно сказал Юрис, — едем, и все, плохо, что ль?

— Нет, конечно, неплохо, но мы едем уже так долго, а ты все еще без билета. Если бы мы ехали пару остановок, можно было бы проехать зайцем, но мы едем так долго, и, если у меня спросят, где билет у этого мальчика, что я отвечу?

— Кто спросит? — возразил Юрис. — Все уже вышли.

Мы оглянулись. И правда, в трамвае никого, кроме нас, не было, ни кондукторши, ни пассажиров, а кабина водителя зеленела насквозь, как аквариум, и водоросли обвили сиденье, и, слабо шевеля плавниками, там плавала зеленая звезда.

— Но где же мы, где? — спросила я. — Не пойму что-то, а ты, сестричка?

Мы проехали Стропы, а дальше Строп я ничего не знаю.

— Дальше Строп — Москва, — спокойно объяснила ты, — оттуда папочка привез нам эти шубки.

— Ничего себе шубки, — одобрил Юрис.

— Юрис, а тебе не холодно без шапки? — спросила ты. — Юрис, а где твоя заячья шапка?

Юрис задумался.

— А черт его знает, — сказал он наконец, — я уже давно без шапки, и, право, мне не холодно.

— А где твое серое пальто, Юрис? — настаивала ты. — И клетчатый шарф?

— Какое это имеет значение, — пожал плечами Юрис, — нет пальто, нет шапки. Что я без них, не человек, что ли? Вот только плохо, что рубашка под формой белая, больно маркая, часто придется стирать, но ничего, моряки народ аккуратный, и я часто буду стирать свою рубашку.

— Я тебе постираю, Юрис, — обещала ты.

— Послушай, — сказал Юрис, — не обнимай меня так, задушишь.

— Я боюсь, что ты снова уйдешь, Юрис, — вздрогнув, сказала ты.

— А что, пожалуй, и уйду, — ответил Юрис, — очень жаль, но дела, дела.

Он махнул рукой куда-то в сторону земли, над которой мы подымались все выше и выше.

— Ух и кувыркнулся бы я с этакой высоты в сугроб! — воскликнул он. — А вот Краслава, погляди, я тут родился! Видишь? — с торжеством сказал он тебе. — Я там родился!

Но ты боялась отвести от него глаза.

Сердце у меня вдруг сжалось. Глубокое сияние снега внизу — вот от него-то мне стало так не по себе, так грустно; огни Краславы сияли, как новогодняя елка, и на глаза навернулись слезы — мне стало казаться, что внизу, по склону холмов, движутся со всех сторон люди с факелами в руках; люди, идущие друг за другом, высоко подымали свои огни, стараясь разглядеть нас в небе. Но наш трамвай, махая крыльями, уходил все глубже и безвозвратней в небо, пока факелы внизу и факелы вокруг нас не сделались одинаковой величины и интенсивности. Мы плыли, не задевая звезд, путь наш был услан млечным сиянием, звезды окликались

друг друга, — мы это слышали, — перемигивались, перекликались, расступались, давая нам дорогу. Какая-то ночная птица всем телом ударилась о стекло нашего окна и громко крикнула, но ты смотрела на Юриса не отрываясь. Я испугалась и дернула тебя за руку. Ты смотрела на Юриса.

— Послушай, — сказала я ему сердито. — Не сиди между нами, пусти меня к сестре.

— Не могу, — ответил Юрис, — она так крепко меня держит. Если я вырвусь и пересяду, она наверняка расплачется.

— Да, Юрис, — подтвердила ты, — я горько заплачу.

— Но я твоя сестра, — возразила я, — и ты должна хотеть сесть рядом со мною. Юрис не брат тебе.

— Действительно, ты моя сестра, — сказала ты, — но Юрис главное — он мой жених.

— Я не жених, — сказал Юрис, — я моряк.

— Слышала? — сказала я тебе. — Он моряк.

— Ну и пусть, — ответила ты, — все равно жених. Юрис, я больше не отдам тебя. Я скрывала от них, как мне больно без тебя, а они думали, что мне больно просто так, и давали мне лекарство. Они старались меня развеселить, а я не могу, когда они стараются. Вообще, они все мне надоели, особенно когда ссорятся и кричат друг на друга.

— И я тебе надоела? — спросила я с ужасом.

— Я тоже не выносил, когда мать с отцом кричат друг на друга. Мне хотелось взять и заклеить уши. А когда отец хлопал дверь, мать бросалась обнимать меня и реветь, будто только что не визжала и не топала ногами на меня же и на отца. И я ушел от них.

— А куда ты ушел, Юрис? — осторожно спросила я его.

— Да так... — неопределенно сказал Юрис. — И туда, и сюда...

— И я с тобой, Юрис, — сказала вдруг ты.

— Что ж, — сказал Юрис. — Пожалуй, и мне все время не хватало тебя в моих путешествиях. Что ж, оставайся!

— Как это «оставайся»? — закричала я. — А мама? А папочка? А бабушка? А я, наконец?

Ты разжала руки, обнимавшие Юриса за шею, и впервые за все это время посмотрела на меня.

— Но видишь ли, — спокойно, как взрослая, сказала ты. — Трамвай — это ведь не самолет, он не может выдержать и тебя, и маму, и папочку, и бабушку, не считая нас с Юрисом. Мама захочет прихватить своих подруг, бабушка — своих старушек, папа — доминошников, да еще доминошный стол с деревом над ним, да и ты, наверное, захочешь взять с собой Стасика, а Стасик — собаку Дождика. Нет, нет, извини меня, но мы не можем взять с собой столько людей. Ищите себе другие трамваи, прилетайте в гости, милости просим. Юрис, открой ей дверь!

— Пожалуйста, — сказал Юрис, не двигаясь.

И я почувствовала, как в ту же минуту меня оторвало от них, вынесло ветром за двери, умчало в струю теплого снегопада, который шел вперемешку с красно-бело-зелеными мячами, и я падала вместе со снегом, я падала, и снег пах лекарствами, чаем с малиной, а свет синей лампы пытался прорвать в моем ухе какую-то болезнь. Я отодвинула лампу.

— Глотни-ка еще чаю, детка, — наклонившись, прошептала мне мама, — бедный мой детеныш.

— Она уехала на трамвае, — сказала я, сделав глоток.

— Она уехала на трамвае, — помедлив, сказала мама.

Все яблоки, все золотые шары...

Что делать, писала Надя, когда жизнь прет на тебя косяком, когда кажется, что ты забралась в чужой огород и невидимый в темноте хозяин спустил на тебя всех своих псов... И еще сравнение: висело над тобой облако ненастное, и, когда оно наконец прорвалось, из него хлынули проливные беды, которые нет времени достойно описать, можно только зафиксировать первыми попавшимися метафорами, сложить в них, как в цветочный горшок, семена и ожидать у моря погоды. Ма, стучит в ухо младшая дочь Лиза, воспитательница сказала, что тебе лень зашить мои рваные колготки. Так и сказала? Да. Я уже зашивала, но у всего на свете есть срок годности: у колготок, у мамы, у ее почки, которая болит, у терпения. Мама, веско молвил старший сын, Сергей, ты подписала письмо экологов, и из-за него нам не дают квартиру. Сережа, а кто заступится за нашу общую квартиру, за небо над головой? Ну, мам, опять начинаешь... Пусть бы другие, у которых есть квартиры, подписывали, вечно тебе больше всех надо. Да, мне надо больше всех, мне надо, чтобы всем, а не только нам с вами было хорошо, всем, и соседу Коле, и уборщице Тасе. Тасе и так хорошо, она как зальет шары, так и завоет в голос: «Ой, ха-а-рашо, ой, ха-а-рашо!» Мама, вступает в разговор уже средняя, Оля, а почему ты тете Лене сказала, что у нас есть яблоки? Нет у нас ни одного яблочка, ни самого вот такусенького, ты бы честно и сказала: нет у нас, тетя Лена, яблок, а ты говоришь: спасибо, Лена, у нас есть яблоки. Я так и говорю, дурочка, потому что тетя Лена за свои яблоки запрашивает большую цену, она хочет, чтобы я сказала, что ее муж умеет писать хорошие стихи, а этого я сказать не могу: в нем дара Божьего — как у нас яблок. Так ты и без того врешь, мама, говоришь, что у нас есть яблоки, а у нас их нет, нет. Тут в разговор вмешивается Гена, муж: стоп, ребята, разберем-ка эту нравственную проблему — какое вранье лучше. Дети, давайте разберемся. Давай, па, раз уж нет яблок. Что лучше — сказать неправду и получить за нее яблоки или сказать неправду и ничего за это не получить? Они стали разбираться, а Надя все писала и писала приблизительно такой текст:

«Пришла Таня, подруга по, так сказать, цеху, маленькая, круглая, румяная, каждую свою публикацию выхаживает вот этими уверенными, крепенькими ногами, и сам черт ей не брат, когда она смотрит на редактора, якобы чего-то не понимая, а он (она) смотрит на Таню, не понимая, как это Таня может чего-то не понимать, что нужно понимать, и все так запутывается с обеих сторон, что из этой путаницы в результате, словно месяц из тумана, выходит очередной Танин рассказ на страницах родного журнала, и тогда Таня, щедрая, с гонорара приносит Наде снедь: где-то в сторонке на столе выкладывает масло, сыр, мясо, яблоко, еще яблоко и еще. Надя становится за ее спиной и на каждый выложенный гостинец выплевывает: пасибо, пасибо, еще раз пасибо и еще. Таня смущается: ну ладно, прекрати. Нет, почему это прекрати, пасибо, благодарствую, мой друг, низкий тебе поклон, дай Бог здоровьичка. В воздухе разлито облако благодарности, легкие забивает, как угольная пыль, разъедает печень и желчный пузырь, стискивает больную почку, уже нет сил лепетать “пасибо”, а оно, как воздух изо рта утопленницы, пузырьками выходит произвольной злобой, жесткой обидой, задавленной гордостью — “пасибо”. Гена, муж, дергает Надю за рукав: что за тон, с Таней-то за что так? И правда, не за что. Таня это делает из лучших побуждений, у нее самой лишнего нет, как у прочих, которые приносят гостинец в качестве платы

за отнимаемое время или от сытости душевной, чтоб душа еще насытилась состраданием, и это им подай, сострадание. Они приносят яблоки, но сами их и сжирают, пожирают Надю, ее большое “пасибо”. Они дарят томик Манделштама, чтобы прочесть с Надиных помертвевших губ “пасибо”. Дают кофтенку, из которой выросли их дети, а сами облачаются в мантию Надиной вечной благодарности, у нее уже “пасибо”, как кровь у крепко побитого человека, выступает из-под ногтей и из ушей течет, а они все не могут насытиться ее “пасибо”».

Да что я, с ума схожу, что ли? Откуда этот слог, рвущийся под тяжестью несправедливой обиды? Что делаешь, жизнь, зачем выкручиваешь меня, как мокрое белье? Уже и слез нет, а ты все выжимаешь меня и выжимаешь!

Как говорит Валера, друг, так сказать, по цеху: каждому Христу по кресту, догоним и перевыполним. Валера стилист, набоковец, одна повесть лучше другой, но вот беда: весь он, словно головой в колодезь, летит в своих героев, весь в них оказывается и проявляется, потому героини эти такие паскудные, все под себя гребут, и чужой стиль тоже. Валера приносит — сало. Мать ему из деревни посылает, а Валера сало не жрет. Пасибо, что сам не жрешь. Ну что, пишешь? — спрашивает Валера и заранее бледнеет. Пишу. Еще больше бледнеет. И хорошо пишешь? Я иначе не умею. Совсем белый стал. Дай почитать! На! Унесли на носилках. Еще один пишущий друг приходит учить жизни — Веня: дескать, ты не умеешь радоваться, а Бог говорит: «Уныние есть величайший грех». Бог говорит это тем, кто живет как ты, Веня, в двухкомнатной кооперативной квартире со всеми удобствами, а не в бараке, как мы. Ага, не в бараке, как вы! — радостно подхватывает Веня. А что бы делала в двухкомнатной, о чем писала б? Тут у тебя такие типусы по общей кухне бродят! Дядя Коля, например, в бутылки мочится, лень ему дойти до скворечника, а потом все это дело вытряхнет и тут же идет сдавать посуду. Материал так и лезет в руки, сочинять ничего не надо, живешь среди действительности в ее чистом, беспримесном виде. И вообще, плевать я хотел на кооператив, будем как птицы небесные, продолжает Веня с высоты поднебесной своего четырнадцатого этажа кооператива и действительно плюет косточки сахаренной вишни с балкона проходим на голову и бросает вниз окурки, и все эти бытовые мелочи его жизни проскальзывают в Венины творения, его проза дышит наплевательством, он пишет прозу ироничную, как бы усмехающуюся в усы, точно за этой иронией что-то такое стоит, некая глубинная боль, тоска по глубокому смыслу жизни. Его нарядная фраза зевает и потягивается, поигрывает накачанными мышцами, поднимая тополиный пух.

Муж Гена закончил разбирать с детьми нравственную проблему и взял в руки три странички, отпечатанные Надей на машинке.

— Ты чего сегодня такая злая? — дочитав, удивленно спросил он.

— Я не только сегодня. Надоело пасибо говорить.

— Давай разберемся.

Ага, теперь будет с нею разбираться. Обожает разбираться. Ему что, окопался сторожем и пишет свою фантастику, и ему, как товарищу по цеху, не скажешь: подумай о детях, нам хронически не хватает денег, поскольку он, как товарищ по цеху, возразит, что наши дети — это наши творения.

— Друзья называются! Рвут, как псы, мои дымящиеся внутренности и жрут, жрут, все смотрят, что бы с меня сжулить — час моего времени, мои метафоры, мою общую кухню для своих сочинений!

— Это все я уже понял, Надя. Нет, серьезно, что произошло, в чем действительная причина твоего настроения?

Вот истинная причина: проза жизни загнала в угол поэзию жизни. Проза жизни наматывает кишки на кулак и отовсюду, даже из того закутка, где, казалось бы, час тому назад стояла поэзия, грозит кулаком.

А где она стояла, поэзия, в каком уголке, в чем она провинилась, за что ее поставили в угол?

Двадцать лет куда-то укатились, личные Надины 7300 дней свалились в общую вечность, но, иногда глубоко задумавшись, уйдя мыслями в прошлое, она их узнает по мерцанию, когда смотрит в эту яму, они там еще дышат, еще живые, хотя каждый прожитый день накрывает минувшее новой порцией праха. Каждый день тогда был как алмазная капля дождя, который уже прошел, но еще слышно, как в нарастающей тишине каплет с крыш. От каждого прожитого мига исходит свечение, каждая минута смотрит невестой. Всякий прожитый день зарыт впрок, как клад, до восстребования, без нанесения на карту, определения по звездам, которые схлынут с неба, как елочная мишура, когда на восточной стороне города построят нефтехимкомбинат, а на западной цемгигант.

Вчера вечером все эти клады сами собой раскрылись, и вместо былых рос и звезд из них посыпались кости мертвецов...

Вот как это произошло.

Надя не знала, что Воробьев приехал, никто ей не сказал, сволочи друзья решили сделать ей сюрприз. Уже все однокурсники были в сборе, когда она пришла, и Воробушек открыл ей дверь. Они его нарочно послали открывать и нарочно не сказали, кто звонит в дверь, а звонила Надя всегда одним длинным, нахальным звонком, как любимица публики. Воробушек поперся открывать, должно быть, долго выбирался из-за стола, потому что Наде уже надоело держать палец на кнопке, все общество сыпануло в коридор за ним, любопытствовали, как произойдет встреча двадцать лет спустя. Он открыл дверь и спросил: «Вам кого?» Он был почти такой же, как прежде. Он спросил ее, былую возлюбленную, с которой когда-то было такое забытье, что сердце начинало стучать даже в кончиках пальцев: «Вам кого?» Называл ее «девчонка» и «светлая». Она была старой, как обугленное дерево, полуживая руина самой себя, и, когда Воробушек спросил: «Вам кого?» — сокурсники вдруг поняли, что они натворили, и по одному, как со скучного концерта, стали стесненно просачиваться в комнату. Воробушек терпеливо ждал ответа, а Надя бросилась вниз. Она бы жизни не пожалела, если б можно было в эту минуту умыть лицо в мерцающих молодых днях, как в живой воде, и провести хоть час с ним за общим разговором, в чужой квартире.

Вот, Гена, истинная причина.

Но события разворачивались дальше.

Стояла морозная ночь, и деревья аллеи, по которой, рыдая, шла Надя, до мельчайших подробностей были объяты инеем. И было так тихо впереди, позади и над ней, словно под землей, и когда из-за поворота появилась фигура, это было странно, точно неподвижность зимы переполнилась сама собою и поплыла. Иней, как судорога, прошелся по кустарнику. Две фигуры сближались, и Надя узнала свою школьную учительницу, которая когда-то так выделяла ее из других, познакомила с поэзией Блока и Пастернака и учила ее писать прозу, но не такую, какую Надя теперь выбрасывает из себя толчками, чтобы не захлебнуться прозой жизни, а другую, эдакую романтическую вьюгу слов. По мере их сближения учительница услышала, как Надя рыдает, а Надя услышала, что та тоже тихо плачет,

ноет, как ребенок. Учительница, узнав Надю, перестала лить свои тихие слезы и спросила, отчего Надя рыдает. Надя хотела уже ей рассказать все-все про Воробушка, про Гену, который работает сторожем, про детей, которых часто нечем бывает кормить, про то, что не дают квартиру, но почему-то сдержалась и, смахнув свои слезы, задала встречный вопрос: «Что у вас случилось?»

Учительница отерла лицо носовым платочком, вынутым из варежки:

— Сегодня вечером я стояла у окна, не зажигая света, и слушала по радио «Грезы любви». Слушала-слушала и вдруг увидела себя в зеркале — помните, у меня небольшое зеркальце висит на ручке оконной рамы. В темноте я увидела себя молодой, а над зеркалом, левее и выше, висела молодая звезда, и она, как сердце, сжималась, все так же, как сорок лет назад, то же зеркало, то же лицо, та же звезда в небе. А внизу от детского сада тянулась дорожка в снегу, по ней никто не шел, от нее отбивались, словно ветка, вели куда-то в сторону отдельные маленькие следы, я так хорошо их видела. И я подумала: «Боже, как нестерпимо хороша жизнь, как больно уходить от нее такими маленькими, мерцающими в темноте шагами... И еще подумала: никто в целом мире, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, не видел, не видит и не увидит эту дорожку в снегу с такой нежностью, как вижу ее сейчас я, и на кого я покину и ее, и зеркало, и мелодию Листа, и эту звезду — на какую вечность?..

Бедное сердце Мани

то и дело стучит всеми своими створками и ставнями, и в него, как птицы — то как голуби, то как вороны, — влетают мальчики и мужчины; иногда влетают как голуби, а отлетают как вороны, иногда сталкиваются, так что пух и перья летят, и высоко над Маниной головой выются в небе кудрявые облака. Должно быть, сердце Мани не просто сердце, которое толчками посылает кровь по всему телу: временами оно переполняет Манию, стук его отдается в кончиках ногтей, в случайно оброненной чужим окном мелодии, гул его заглушает настойчивый звук улицы, вкрадчивые шаги уходящей молодости. Маня, сквозь сердце которой вечные птицы любви осуществляют свой перелет, ничего не помнит, занятая заботой свивания гнезда внутри своей мечты, забывает поспать, так что где-то на улице, в сквере, вдруг опустится на скамейку от слабости или, прибирая свой дом, падет на кровать, точно замертво, и на пару часов выходит из собственного сердца, как водолаз из батисферы, и медленно отплывает от него, огибая потонувшие суда. Но вот телефонный звонок крючком за губу выдергивает ее из сна: она летит на золотой благовест босая, хватается трубку, и лицо ее гаснет, точно вместо ожидаемой «Каста дивы» она слышит «Последние известия», хотя это с ней говорю я, ее все-таки подруга. Услышав Манин взметнувшийся и тут же погасший голос, я догадываюсь, что она опять полюбила, что сердце в ней выросло, как на дрожжах, оно стоит у нее в горле, и потому ее речь глуха и невнятна. «Да, спасибо, — роняет Маня нетерпеливо. — Нет, спасибо. Ой, да ладно, я все помню!» — отвечает она, когда я напоминаю ей о работе, что она затягивает сроки и ее могут запросто шугануть из нашей конторы. И Маня с некоторой безразличностью торопливо кладет трубку.

Она уже знает: как бы тело ни припало к телу всем распластанным существом кожи, каждой ненасытной ее порой, что-нибудь да останется снаружи, на поверхности, и душа не перетечет в родную душу свободно, как река в реку, стало быть, их совсем надо лишиться, тел, и тогда любовь наконец осуществится. Сердце ее превратилось в один разверстый, остановившийся взгляд, который, напрягшись всеми своими калейдоскопическими смотрилищами, все равно не может проникнуть внутрь другого сердца. Ощетинившаяся тьма смотрит ей в лицо: мертвый, фосфорический блеск телефона. Счастье и несчастье, два одновременных, одинаковых по силе чувства, раскачивают сердце, как качели, и ее сотрясает озноб. «Виталья, Виталья!» — зовет она со всей силой сплотившегося, слившегося в душе счастья и несчастья, не может быть, чтобы там, в своей темноте, он сейчас не вскочил как ужаленный. Жизнь в единый миг переправилась на другой берег и оттуда смотрит на нее с укоризной. Что Мане ее укоризна! Что все люди, вместе взятые! Она вчера на сон грядущий, как чудную книгу, читала его! Но сейчас все, что она только любила на свете, сейчас все отвернулось от нее в тяжкие минуты ожидания, которые она передвигает одну за другой, как шкафы, все отвернулось от нее в это уплетающее ее за обе щеки прожорливое время: из книг, например, повысыпались буквы и лежат горой, как мусор. Она как в бреду видит Виталия. Глаза его как два оленя, пьющие из родника, из ее ускользящего, бесовского взгляда. Отдам весь восторг земли и всю кровь зари небесной... И тогда раздается оглушительный звон: судьба, видать, приняла ее жертву. Маня делает стремительное движение к телефону, над которым встает заря, и райские птицы кружат над трубкой. Голос Виталия течет, как река, и баюкает Маню, как солнце, ветер и орел. В эту минуту, в минуту прерывистого, полного лукавой игры и суматошного волнения разговора, она так счастлива, точно Бог послал все лучи радости из Своей длани на ее душу.

— Ты думала обо мне?

— Нет, я спала, — честно признается Маня.

— И не думала обо мне, когда спала?

Голос его пронзает Маню, как ток, но она отвечает:

— Нет, мне даже ничего не снилось.

— А вчера говорила, что даже если умрешь, все равно будешь меня помнить.

Маня с блаженной улыбкой отвечает:

— Значит, мой сон был глубже смерти.

— Вот и верь после этого вашей сестре, — наступает Виталий. Он, как и все мы, любитель помучить человека, посмотреть, как он дергается.

— Виталий, не верь нашим сестрам, верь мне одной, — на одном дыхании отвечает Маня. — Виталья, приходи ко мне жить, хочешь — на сколько хочешь, хочешь — навсегда.

— Быстро же ты, Маня, соглашаешься, чтобы я пришел «на сколько хочешь»... А дальше — ты знаешь, что бывает дальше!

Маня не знает, не помнит об этом. Она сейчас как новорожденная, родилась на этот свет неделю назад, когда шла, едва волоча ноги, по улице, вдоль по Питерской, за дребезжащими дрогами своей последней любви. В глазах ее стояла картина: Толя и его жена на своем балконе развешивают детское белье, точно нет никакой Мани и в помине. Толя давно уже шипел в трубку: «Ты что — спятила, другого времени выбрать не можешь?» А для Мани не было другого времени, как и другой жизни, она то и дело забывала про всякие премудрости вроде того, что Толя

женат. И вот она брела, тусклая, погасшая, шаркая кроссовками, ссутулившись над своим болящим сердцем, и тут ее остановил паренек. «Девочка, закурить не найдется?» — с развязной ухмылкой поинтересовался он. А Маня — она всегда бросалась на борьбу с препятствиями, то есть если видела перед собой циника, тут же начинала вести борьбу за светлое воскресение его души, тут же шла на приступ чужой крепости, имея оружием лишь одно свое легко воспламеняющееся сердце и диковатые глаза, горящие из-под длинной черной челки, как шеломы залегшей рати сквозь вереск и камыш. У Мани нашлось закурить, и дальше — дальше для нас все скучно, не пойдем с ними, ибо знаем этот маршрут наизусть; для Мани же все началось снова, снова раскрылся, как перед князем Гвидоном, чудный город, по которому они столько раз бродили вдвоем, а когда шла одна, случалось, это было тяжело, будто брела она с вывихнутой рукой.

— Ты меня любишь?

— Да. — Сказал как отрезал.

Она не помнила, что эту же самую березку, растущую на выступе Донского монастыря, увидела она две любви тому назад, вместе с Эндрю, американцем из штата Иллинойс, натаскивающимся с ней в русском языке, и не только в нем одном, что вот так же она сидела, положив голову на плечо Валерика, любовь тому назад, посмеиваясь над аляповатой афишкой кинотеатра напротив скамейки. Когда Виталий взял ее за крохотную ладонь и осторожно стал дуть на нее, то ли отогревая, то ли раздувая линию любви, у Мани чуть ноги не отнялись от нежности к нему, она не помнила, что много любовью тому назад так же благоговейно грел ей руки армянин Рубик, который не так давно умер от болезни крови, так и не забыв Маню. Ничего не помнила она. Женщина, стоявшая три часа тому назад под чужим балконом, погасшая, сутулая, с обуглившимся лицом, ничего общего не имела с этой легкой девчонкой, у которой все развевалось, жило и блистало: волосы, болоньевая куртка, руки. И нежность Мани так огромна, что она может растопить арктические льды, глаза ее горят, как бесчисленные звезды на черном небе, и космос разворачивается из крохотной почки ее человеческого сердца, как музыка вырастает из гаммы, и счастье кипит в ней, как ветер в вишневой белой кроне.

А Виталий вырастает в собственных глазах, думая, что это он своими собственными руками изваял из унылого куска глины прекрасную женщину, как Бог. Он чувствует себя молодым богом, не подозревая, что на самом деле его существо для Мани только повод, просто по случайности он совсем близко подошел со своей зажигалкой к высушенной на безлюбье соломе, и она горит, горит теперь, как купина неопалимая, можно руки погреть, можно рядом пригреться: с трудом занимается недоверчивым, дымным огнем его сырое сердце. Они путешествуют по Москве, странствуют по звездам. И вдруг звонок ржавым гвоздем царапает слух, отверстие для музыки сфер, для младенческого лепета любви: «Чего, не узнала? Спишь, что ли?» Это Толя. «Что молчишь?» Маня вовсе не думает злорадно: спохватился, голубчик. Это голос с другой планеты. Это запах позавчерашнего прокисшего борща, который Маня сварила для Толика, да запаматовала поставить в холодильник. Толя — пустой, мертвый звук, оболочка. Скучный позавчерашний голос. Маня удивлена: что ему надо? Она так прямо и спрашивает: «Что тебе надо?» Толя, фыркнув, не может ответить, однако, прямо: тела, мол, твоего. Вокруг его ответа нагромождается хаос взволнован-

ных слов, ибо он тоже, стоя у себя на Вавилова, почуял запах прокисшего борща. Тело Мани улетело, оно теперь небесное тело. Виталья приподнимается на локте и сквозь свои длинные, спутанные волосы смотрит на Маню. Маня смотрит на Виталю и забывает ответить Толе, что тело в общем-то улетело, что у нее теперь новое тело и в сердце чисто, как в Божьем храме.

Она машинально опускает трубку, потом вырывает из розетки телефонный шнур, не думая о том, что Толя... Толя, если недокушал, другим куском своего законного ни за что не отдаст, из горла вырвет, но не отдаст, а уж потом может этот кусок брезгливо выбросить. Но это других он может дожевывать, других, не Маню, которая, собственно, уже не Маня, Мани не существует. И ей в голову даже не приходит простая картина: Толя, моментально почуяв опасность, сварливым голосом требует у жены десятку, понимая, что Маня что-то закапризничала, тут просто бутылкой не обойдешься, нужен жест, что-то вроде букета роз, именно роз, и жена грустно выдает купюру. Ступени мелькают под его большими ступнями, как страницы романа, в конце которого героиня не умрет, а, увы, поправится. Вот розы: они уже гаснут в целлофане, хоть на лепестках их блестит жеманная слеза. Толя представляет, как вручит Мане букет, а потом — как обнимет ее! Куда она денется, чуть не с нежностью думает он, она ж такая отзывчивая, чудо! Толя, как молодой, на ходу запрыгивает в автобус; Маня называет его «мой мальчишечка» и не видит плечи на его голове, и правильно, что не видишь, Маня, надо зреть в корень — Толя ухмыляется пришедшему на ум каламбуру, услышав который Маня бы, наверно, сказала: «Фу», — потому что для нее корневая сторона дела второстепенна, над ней шумит и шумит зеленая крона, пока Толя делает свое коренное дело. Дурочка-девочка, хотя бабе уже двадцать девять, но все равно еще девочка, лепечет себе, что дитя малое, — это до того Толе кажется, что она лепечет, а после — сюсюкает баба.

Толя едет в автобусе, приплясывая на задней площадке от нетерпения, а Маня летит вместе с Виталием в метро, потом на автобусе в Архангельское. И опять она не помнит о том, что всех хозяев своего сердца, своих гостей, она то и дело возит сюда, как экскурсовод на экскурсию. Из них и в самом деле вышла бы интересная, благодарная группа. Где-то даже интернациональная. Дружба народов на почве Мани. Всех — из детских лет не забыть прихватить одноклассника, не выговаривавшего «р», одного солдата, одного матросика, одного югослава, строившего на Маниной родине какой-то комбинат, комсомольского работника Женю, который горел на работе, отчего карьеры не сделал, преподавателя культпросветучилища, обаятельного, но унылого душой знатока поэзии, но не жизни, дельтапланериста Роберта, к которому Маня долго ходила в больницу, а как только Роберт встал на ноги, умчалась от него в Москву; одного, как она сама, лимитчика, однокурсника по пединституту, рок-звезду, на него вешались такие девочки, а он нежно любил одну Маню, армянина Рубика, который мог бы для этого дела воскреснуть, Эндрию с его чудесной зарубежной улыбкой... Она любила тех, кто в джинсах, и тех, кто в потрепанных куртках, тех, кто вообразить себе не смел, что можно читать детективы на английском, как Маня, и тех, кто в оригинале читает Джойса, что Мане не под силу, тех, у кого денег куры не клюют, и бедных студентов, и самостоятельных, крутых мужчин, хлебнувших лиха, и маменькиных сынков — всех она оплела единым венком, и этого я понять не могла.

— Маня, милая, но ведь должно быть духовное родство, — робко говорила я. — Как же ты...

— Ты хочешь сказать, что я люблю лишь плоть и стать, — потягиваясь, пренебрежительно усмехалась Маня.

...И прекрасных, с античными чертами, высоких, уверенных в себе мужчин, и клонящих голову долу мальчиков...

— Но оно должно быть, духовное родство!

— Что ты имеешь в виду?

...И добрых, благородных — и завистливых, честолюбивых...

— Все это наносное: Джойс в оригинале, Кафка в подлиннике. Это от муштры — ранний Пастернак и поздний Блок.

...И гинеколога Валеру, и инженера Толю...

— Но все же, все же — на какой основе ты с ними общаешься? Не на биологической, не на социальной, не на духовной тем более, не на материальной — на какой же, наконец?

— Угадай, — без тени улыбки сказала она.

Но вот все как бы в сборе, экскурсанты. Кто еще остался за бортом памяти? Пусть догоняет, пусть. Можно провести их по знакомому маршруту, меж поседевших экспонатов, догоревших костров. Но печаль, как ранняя седина, тронула утреннюю Манину радость, с чего-то печаль, точно перед глазами проковыляла обгоревшая птица. Вкрадчиво подступает осень. В сентябре, когда уже нет жары, по едва наметившейся осени Маня едет на Волгу под Камышин к маме. Как бы ни складывались к тому времени ее сердечные дела, она добросовестно садится в поезд и, в слезах простившись с провожающим ее любимым человеком, уже в вагоне забывает о нем. Это ее поезд, родные лица, знакомый запах захолустья, привычный разговор, в который она с ходу заинтересованно включается. «Волга — Млечный Путь России» — так начиналось одно ее стихотворение, с которым я познакомилась раньше, чем с Маней. Теперь ничего подобного о Волге она не скажет, песня «Волга в сердце впадает мое» повергает Маню в такое горячее бешенство, что она готова по щекам отхлестать пузатый радиоприемник, и без того извергающий достаточно лжи. Но эта ложь, которая как бы правда — по крайней мере для Мани, — это для нее хуже замысловатого обмана Толи, который когда-то уверял ее, что уезжает в командировку, а она видела, что он просто хочет отдохнуть от Маниной любви.

Маня, если подойти к ее поездке идеалистически, должна бродить по своему селу с просветленной душой, читать в гамаке между двух слив романы, душевно беседовать со старой мамой, с которой на самом деле они постоянно ругаются: Маня упрекает мать, что все ее дурят, что у нее одной картошка, взращиваемая на чистейшем навозе, идет по смехотворной цене, что мама постоянно жертвует со своей небольшой пенсии на храм Божий, между тем Маня и сама любит постоять перед Георгием Победоносцем, не глядя раздать все из кошелька нищим.

Над Волгой стоят величавые облака, с бахчи мешками тащат арбузы. Маленькая пристань все так же скрипит, волны накатывают на нее при подходе моторки, и нога скользит на зеленых, мокрых камнях, будто б не было целой жизни. Но была — о чем ревут, мчась по реке, моторки, на что намекают изменившиеся до неузнаваемости люди, — редко теперь встретишь шептунного, веселого, который от полноты душевной подкатит тебе арбуз, кинет в подол семечек. Идут незнакомые люди, сходят с катера, тащат котомки, сумки, продукты из города, часто пьяные, часто ругаясь от нечего делать, лишь бы язык шлепал в глотке. Насмотревшись на все это, наглотавшись родимой пыли, проводив на кладбище еще одну